

СМЫСЛ В ЖИЗНИ И СМЫСЛ В ТЕКСТЕ
(материалы круглого стола¹)

С. Т. Золян^{1, 2}, М. В. Ильин^{3, 4}
Ж. Р. Сладкевич^{1, 7}, Г. А. Тульчинский^{1, 5, 6}

¹ Балтийский федеральный университет им. И. Канта
236016, Россия, Калининград, ул. Александра Невского, 14

² Институт философии, социологии и права НАН Армении
375010, Армения, Ереван, ул. Арами, 44

³ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
101000, Россия, Москва, ул. Мясницкая, 20

⁴ Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук
117997, Россия, Москва, Нахимовский просп., 51/21

⁵ Санкт-Петербургский государственный университет
199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9

⁶ Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
190008, Россия, Санкт-Петербург, ул. Союза Печатников, 16

⁷ Гданьский университет
80-308, Польша, Гданьск, ул. Вита Ствоша, 51

Поступила в редакцию 09.09.2019 г.

doi: 10.5922/2225-5346-2020-1-1

В рамках круглого стола обсуждаются ключевые вопросы смыслоформирования в нарративных и перформативных практиках. В режиме свободной дискуссии анализируются различные факторы и параметры, определяющие осмысленность действий, и те механизмы, на основе которых они интерпретируются. Все эти механизмы можно рассматривать как проявление различающихся в модальном отношении различных типов текстуализации. Интерпретация и текстуализация позволяет выявить и описать соотношенность между некоторыми каузальными и функциональными отношениями («смысл в жизни») и их семиотической манифестацией («смыслом в тексте»).

Ключевые слова: *смысл, текст, социальная семиотика, перформативы, нарративы, интерпретация.*

С. Т. ЗОЛЯН: Нашу дискуссию начнем с рассмотрения смыслов слова «смысл». Можно ли свести их к некоторому лингвoseмиотическому субстрату — например, к смыслу по Г. Фреге? Очевидно, что это разные плоскости рассмотрения. В одном случае мы говорим об отношении «означающее — означаемое», в других — о некоторых каузальных или функциональных отношениях. Так, можно в лингвистических терминах определить смысл слова «жизнь» в русском языке — что и делают

© Золян С. Т., Ильин М. В., Сладкевич Ж. Р., Тульчинский Г. Л., 2020

¹ Круглый стол был организован в рамках поддержанного РНФ проекта №18-18-00442, осуществляемого в Балтийском федеральном университете им. И. Канта (Светлогорск, 2 июня 2018 г.). В нем принимали участие также А. В. Щекотуров, И. В. Фомин и Е. Макаров. Материалы дискуссии подготовлены к печати Татьяной Белецкой.



лексикографы. Но вот смысл жизни — это уже совсем иное, возможно ли его определить, связав с некоторыми дискурсивными или символическими практиками? В таком случае мы вновь приходим к возможности некоторого лингвосомиотического описания, хотя оно будет коренным образом отличаться от лексикографического. Это то, что обычно называют «смысл, который вкладывают в это слово». Например, «смысл жизни — делать добро», или «смысл жизни — в служении партии». Обязательна некоторая процедура текстуализации смысла.

М. В. ИЛЬИН: Если, предположим, я член партии с пятидесятилетним стажем, то смыслом моей жизни пятьдесят лет будет именно служение партии. И это мой смысл, который я вкладываю в это высказывание. Но я его могу выразить по-иному, путем наблюдаемого действия: может, я значок ношу партии, может, хожу на мероприятия партии по утрам и вечерам, а может, еще как-то. Мне непонятно противопоставление смысла в языке смыслу в жизни, потому что оба они вместе: и в языке, и в жизни.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Раскрытие слова *жизнь* будет зависеть от того, кто будет это говорить. Может, это будет говорить убежденный партиец, что для него смысл жизни — это служение партии. Для него. А кто-то скажет, что смысл жизни — любовь.

С. Т. ЗОЛЯН: Потому и стоит разграничить то, что условно можно назвать «смысл в языке» и «смысл в жизни». Нельзя в словаре записать «смысл слова *жизнь* — служить партии». Это различные модусы употребления слова, как, например, в предложениях «слово *жизнь* — это слово из пяти букв и четырех звуков» и «*жизнь прекрасна*». Это принцип подстановки, который показывает различие в смыслах: подставим одно вместо другого и получим абсурдные высказывания «слово из пяти букв и четырех звуков прекрасно».

Обычно противопоставляют смысл слова в языке как словарное толкование и смыслы, которое мы приписываем поступкам. В первом случае смысл — это то, что обозначается словом в языке, и мы абстрагируемся от того, кто говорит, кто и что вкладывает в это слово. Но ситуация меняется применительно к тексту. Смыслы, которые вкладываются в слова, возникают уже на основе внелингвистических факторов исходя из определенной жизненной ситуации. Эти два различных понимания могут быть сведены воедино в понятии *осмысление*: оно основано на предположении о том, что в любой момент нашей деятельности мы можем ответить на вопрос, что мы делаем, то есть перевести некоторые поведенческие схемы в некоторый текст. И естественно, этот перевод текста в поступки и поведение будет основываться на некоторых семиотических явлениях. Игнорировать собственно языковые отношения мы не можем. Какой бы ни был упертый партиец, он должен основываться в определенном отношении на смыслах слова *смысл* и слова *жизнь*. Во всяком случае это должно быть скоррелировано. От чисто лингвистического подхода возможно перейти к такому, который условно назовем социологическим, и уже для социологического найти его корреляты в лингвистике. Напомним, что понятие смысла лежит в основе понимающей социологии Макса Вебера (см.: Золян, 2018), а из более



близких — это системная теория Н. Лумана. Согласно Веберу, действие является социальным, постольку его смысл может быть проинтерпретирован другими (Вебер, 1990). Если говорить о дальнейшем развитии, то его я вижу также и в концепции смысла у Никласа Лумана: смысл как семиотическое отношение между знаком и денотатом может быть операционально соотнесен с пониманием смысла как целевого или каузального отношения между различными событиями — в обоих случаях имеют место различные, но взаимосвязанные события автореференциального порождения смысла (Луман, 2004). Наше поведение предполагает соответствующую вербализацию и определяется вербальными структурами, поскольку мы в состоянии сказать, что мы делаем, зачем это делаем, и каким-то образом спроецировать последствия. То есть для экспликации смысла мы создаем текст. Другое дело, какой из альтернативных текстов реализуется в действительности. Здесь важно осуществить переход к модальной семантике, семантике возможных миров. Из многочисленных версий мне представляются наиболее подходящими Сола Крипке (Kripke, 1980) и Дэвида Льюиса (Lewis, 1979) они, на мой взгляд, в большей мере связаны с языковыми структурами смысла и референции, чем, скажем, концепция Я. Хинтикки (Hintikka, 1972).

Стоит также добавить теорию двойников (Lewis, 1968) — поскольку она больше подходит к описанию контрфактических ситуаций. Так, согласно его примеру, имя *Ричард Никсон* выделяет разных индивидов. Когда мы строим предположение «Будь Никсон честным, он остался бы президентом», это разные Никсоны, очень похожие, но отличающиеся именно по признаку «честный — нечестный». Это важно, потому что, если мы уходим от собственно, наблюдаемого поведения и хотим описать реальное, то поведение вовсе не сводится к тому, что конкретно сделано, а именно к тому, что описано. Так, даже простой вопрос «Что сейчас ты делаешь?» может привести к различным описаниям: что я в действительности делаю, описываю ли я свое собственное представление или же восприятие других. Например, читаю ли я сейчас лекцию или же участвую в дискуссии, отрабатываю нагрузку, хочу произвести впечатление на начальство и т. п. Мое поведение предполагает различные описания и самоописания, которые могут надстраиваться друг на друга.

Это то, что рассматривается как смысловые рекурсии (самоописание) в теории систем Н. Лумана. Попытаемся найти для этого лингвистическую основу. Это различные типы нарративов и перформативов, посредством которых осуществляется возможность различных авто- и мета-репрезентаций. Я сейчас что-то рассказываю. Это может быть описано чисто формализованно, как отчет для администрации: *Мы проводим семинар в рамках проекта. Можем описать содержательно: Обсуждаем проблему смысла. С определенной точки зрения — чепухой занимаемся, непонятно о чем болтаем.* Задан спектр возможностей, и описывающий индивид предстает как полиглот, владеющий множеством языков описания поведения. И здесь возникает определенный стереометрический эффект, когда мы рассматриваем различные семантики. Следующий шаг — это переход от описания к действию посредством текста, что



приводит к перформативности. Вследствие многозначности этого термина можно остановиться на его узком, изначальном понимании: как самоописывающем себя действии.

М. В. ИЛЬИН: Когда мы говорим «перформатив», мы имеем в виду все, что угодно. А у меня сразу возникает возражение в связи с тем, что мы можем говорить только о *performative utterances*. Это то, о чем Джон Остин говорил. Если мы обсуждаем только то, что говорили Остин и его последователи, которые занимаются логикой, которые берут одно высказывание и дальше его детально анализируют, это одно. И тут я с тобой согласен. Но с точки зрения именно социальной семиотики у нас существует кроме *performative utterances* еще *performative events*, у нас еще существует *performative acts*, которые многосоставные. И вот например, такой *event*, как «американская независимость», — этот *event* длился десять лет, и там много чего упаковано.

С. Т. ЗОЛЯН: Я бы перевел *event* в текст, описав его.

М. В. ИЛЬИН: Назови «текстом», как хочешь, чтобы понятно было, из-за чего мы спорим. Мне *performative utterances*, честно говоря, малоинтересны. Только если анализировать этот *utterance* в составе *event*, меня интересуют *events*.

С. Т. ЗОЛЯН: С этой точки зрения полезно будет развитие концепции перформатива в книге Джона Сёрля «Конструирование социальной реальности» (Searle, 1995). Здесь важна не возможность самоописания, а то, что в результате перформативов изменяется действительность, это Сёрль называет «социальной магией». Она возникает на основе речевого акта и совокупности удачных условий. Само по себе высказывание к этому эффекту не приводит. Лингвистические факторы только вместе с внелингвистическими создают опять-таки стереометрический эффект: одно накладывается на другое, в том числе и нарративные и перформативные дискурсы. Возникает их постоянное чередование, или, используя метафору Ролана Барта о соотношении между фактом и мифом (Барт, 1994, с. 88–89), — это постоянно вращающийся «турникет» между нарративом и перформативом. Если я скажу, что завтра солнце взойдет, допустим, в 4:30, это, конечно же, предсказание. Если я скажу, что завтра я собираюсь встать рано утром в 4:30, — это будет уже не предсказание, а описание моих действий, это определенная программа. По-моему, основная характеристика перформатива — это если поступок нельзя отделить от действия. Когда это разделение возможно, это и есть принцип нарративности. Когда единство слова и действия теряется, когда одно может произойти без другого, то возникает нарративизация, единство слова и действия может быть восстановлено, но уже на других, отличных от первоначальных условий.

Наконец, нарративность смысла должна быть соотнесена с различными модальностями и мирами. Одно и то же предложение может быть соотнесено с различными мирами и областями интерпретации. Истинно или ложно высказывание: «Судьи справедливы»? Возникнет вопрос: «Относительно какого мира?», говорим ли мы о действительном мире или же о его деонтической альтернативе, мире норм. Эта многозначность активно эксплуатируется в политическом дискурсе,



когда деонтическое представляется как имеющее место. Посмотрите любой уголовный кодекс. Например, там написано: кража карается сроком до семи лет. Это норма, но в действительности далеко не всякая кража карается по закону. Противоречиво ли само предложение, поскольку оно одновременно и ложно, и истинно? Нет, поскольку мы имеем в виду его различные интерпретации, различные реальности, оцениваем его истинность / ложность в различных мирах.

М. В. ИЛЫИН: С точки зрения обществоведов, с точки зрения практики — это не так. Логик легко разведет эти разные миры и будет оперировать ими примерно так: «Это реальный мир, а это, вот, деонтический». Или еще какой-то. А вот у нас в политике депутаты или администраторы спорят. Для них эти миры сведены. Они сведены не в том смысле, что я их отождествляю, а в том, что я использую этот мир здесь и сейчас. Я его использую, он для меня инструментален, то есть он на самом деле не отдельно существует. Я знаю, что судьи несправедливы, но я начинаю тем несправедливым судьям, которых я вижу перед собой говорить: «Ах, ты гад такой! Если ты несправедлив, значит ты не судья». Это знаменитое *The king can do no wrong*. А раз он *did some wrong*, то он не *king* больше.

С. Т. ЗОЛЯН: Вот я и говорю, что политический дискурс основан на неразличении этих модальностей. Но можно представить как дальнейший шаг: появляется судья, который произнесет: «Вот этот человек несправедлив, он не имеет права быть судьей». Чтобы это высказывание стало перформативом, требуется уже социальный контекст: говорящий должен обладать этими полномочиями: не только сказать, но и лишить его ранга судьи, то есть от констатива перейти к нарративу.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Вы приводите пример деонтической модальности. Но в алетической интерпретации модальный оператор может рассматриваться как квантор по возможным описаниям состояния. Это квантификация по описаниям состояния, то есть по возможным мирам. Необходимо, чтобы судьи были справедливы, значит во всех возможных мирах судья справедлив. И для опровержения этого достаточно, чтобы в одном из описаний состояния, в одной из ситуаций судья оказался несправедлив. Но при этом сама возможность квантификации предполагает консенсус участников дискурса, например депутатов.

С. Т. ЗОЛЯН: Эти депутаты могут по наивности, а может, и специально смешивать эти два типа модальности. Но подобное смешение в целом характерно для политического дискурса — сошлемся на Гарольда Лассвелла, который писал, что политическая формула одновременно и дескриптивна и прескриптивна (Лассвелл, 2006, с. 273–274). Она дескриптивна, потому что что-то описывает. Она прескриптивна, потому что нечто предписывает. Но подобная многозначность в силу интерпретации в различных мирах характерна и для других типов дискурса. Например, в художественных. Вот простой пример: «Правда ли, что Онегин убил на поединке друга?» — это ложно применительно к актуальному миру, но истинно по отношению к миру романа.

М. В. ИЛЫИН: Роман — это часть нашей реальности. Но если бы Пушкин придумал роман о каком-нибудь другом герое, что он соблаз-



нил жену своего друга, написал бы в своей голове и никому бы не рассказал, тогда бы я сказал: я не знаю, что это такое, это вообще не часть реальности.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Мы переносим предикаты из текста Пушкина на описания реальности и говорим девушке, что она вылитая Татьяна Ларина. Мы сравниваем реального человека с персонажем.

С. Т. ЗОЛЯН: Когда мы говорим о различных мирах, мы должны стратифицировать области, указывая механизм перехода одного в другой. Именно тогда мы описываем семантику как прослеживание межмировых соотношений. Онегин существует в одних мирах, не существует в других, в третьих существует как конструкт, в четвертых — как интертекст и прочее. Если мы вводим понятие модальности в стратификации, то у нас получается семантика другого типа, где в некоторых мирах все судьи справедливы, а вот в нашем несовершенном мире не все судьи справедливы. И получается, что предложение может быть либо эксплицировано за счет его привязки, допустим, к нашему миру, и тогда мы пытаемся привести наш мир в соответствие с этим идеальным миром, то есть всех плохих судей выгоняем. Либо же считаем так, что раз судья, то, значит, он справедлив, и поэтому никакое судебное решение не подлежит обжалованию. Кстати, существующая практика исходит именно из этого — решение одного судьи может отменить только другой вышестоящий в иерархии судья, то есть «более судья», чем принявший отмененное решение.

Подытоживая нашу дискуссию о механизмах создания новых смыслов и тем самым образования многозначности, укажем их типы. Первый тип — когда мы некоторому языковому высказыванию приписываем его интерпретацию в некотором множестве возможных миров, где они могут отличаться. Примерно это, но как дополненное тем, что может быть обусловлено различающимися установками потенциальных говорящих, у Столнейкера и Льюиса называется двухмерной семантикой.

Наконец, уже сами лексические единицы языка также увеличивают степень многозначности. Значение — это не какие-то дискретные единицы, а некоторый континуум, или семантический вакуум, который заполняется некоторым спектром значений. Помимо того, что мы интерпретируем различные миры и различные истинностные значения, лексические значения могут входить в различные конфигурации, которые являются одновременными интерпретациями данного предложения. При этом мы не можем сказать, какая из них точная, поскольку всегда имеется доля недоопределенности. Именно это имел в виду У. Куайн, предлагая понятие радикальной интерпретации — это просто вообще отказаться от языка и говорить путем указания на видимые явления и объекты. Как у Свифта. Но к проблеме можно подойти по-иному.

Эта неопределенность, или недоопределенность, создается как раз языком, потому что одну и ту же ситуацию мы можем описать совершенно по-разному. И можно предложить обратную интерпретацию. Неоднозначность, как она была описана Куайном, возникает именно вследствие того, что мы используем ресурсы естественного языка, бла-



годаря чему одной и той же ситуации можно привести в соответствие различные описания. При этом вполне возможны метафорические описания, основанные на совмещении различных интерпретаций. Например, высказывание «Не человек, змея». Его нельзя заменить без ущерба для смысла на «Этот человек опасен», поскольку важен комплекс (блендинг): и человек, и змея. Это не только опасное, но и хитрое, изворотливое и к тому же пресмыкающееся существо. При этом не отрицается, несмотря на поверхностную структуру «не человек...», что речь идет о человеке (при аномальности: «он человек, и / но змея»).

Как видим, различные интерпретации могут образовывать некоторый комплекс, а не отрицать друг друга, как предполагается у Куайна. Различные значения многозначного знака могут быть совмещены. Языковой знак одновременно указывает на объект (денотация) и приписывает ему некоторые характеристики (коннотация). Это распространяется и на имена собственные. Если мы назовем Дом быта «Золушкой» — это одно, а вот «Медвежья услуга» — это совсем другое. Хотя, казалось бы, это имя собственное указывает лишь на некоторый объект, но не на качество производимых услуг. Одновременно с названием мы даем и некоторую оценку. Так действует язык, почему и неадекватны модели одномерной семантики и одномерного семантического согласования. И если применительно к отдельным предложениям могут быть приведены контрпримеры, то применительно к тексту многомерное структурирование оказывается определяющим. При этом внутри текста возникает и сохраняется мера структурирования, при которой возможны неопределенность и недоопределенность, это та форма организации информации, которая позволяет тексту приобретать новые значения в новых контекстах.

Ж.Р. СЛАДКЕВИЧ: Я хочу продемонстрировать, как возникает подобная многозначность, рассмотрев механизмы семантической аберрации в публичном дискурсе. Медиальный политический дискурс в последнее время часто рассматривается именно в категориях аберрации, понимаемой как некое отклонение от здравого смысла, от логики рассуждения и т.д. Естественно, мы как лингвисты не рассматриваем клинические случаи аберрации, которые тоже вербализуются и текстуализируются в речи пациентов определенного рода. Вне поля моего внимания тоже остались случаи спонтанного эффекта аберрации, возникающего вследствие низкой языковой компетенции говорящего либо в условиях дефицита времени и высокого эмоционального напряжения — «инференционная тарабарщина» (*belkot inferencyjny*) в классификации Александра Киклевича (Kikiewicz, 2015, s. 15). То есть замысел был иной, а получилось так, как получилось. Это знаменитые чернобырдизмы — ляпы, которые уже стали в России народным фольклором. В Польше есть подобного рода микротексты, например валенсизмы, изречения Леха Валенсы: «Есть плюсы положительные и плюсы отрицательные». Огромное количество есть малых жанров, которые построены на концептуальном диссонансе — армеизмы, абсурдные анекдоты, фольклор, стишки, детские считалочки, «путаница», в конце концов, Корнея Чуковского и т.д. То есть то, что можно было определить как



игровую тарабарщину (*bełkot ludyczny*) (Kiklewicz, 2015, s. 17). «Ум за разум заходит», «Живы будем, не помрем», «Живете, как свиньи в берлоге» или даже фраза «Мальчик стоит под дверью». Как «под дверью»? Он стоит за дверью. Но мы говорим «Мальчик стоит под дверью», и все прекрасно понимают смысл сказанного. Обычно такие тексты не несут глубокой смысловой нагрузки, тем не менее сущность комического в них базируется на нарушениях логических оснований разного порядка и некой общей абсурдизации высказывания.

Можно рассмотреть подробнее контрфактические политические заявления, спровоцированные обычно неподготовленностью выступающего. В силу своей аномальности, а также высокого статуса говорящего и соответствующей медийной платформы, которая позволяет тиражировать эти тексты, они имплицитно обширный респонсивный контент в смеховом ключе. Речь идет о так называемых индексальных фразах с гипертрофированной дейктичностью, которые потом в текстах выполняют в основном отсылочную реминисцентную функцию. Как пример можно привести знаменитое утверждение Виктора Черномырдина, сделанное им в 2000 году в качестве посла Российской Федерации на Украине: «Россия — континент, и нас здесь нельзя ни в чем упрекать». На вопросы журналистов: «Ну, как континент, если на этом же континенте с Россией есть другие страны, например, Китай», он сказал: «А причем здесь Китай? Китай — не континент».

Еще более резонансным стало выступление в январе 2017 года Витольда Вашиковского — главы МИД Польши — после возвращения с Совета Безопасности ООН. Он говорил о встрече с дипломатами разных государств, в том числе Сан-Эскобара. Поскольку он сделал это с такой, скажем, высокой медийной трибуны, данное высказывание породило огромный респонсивный контент, комментировалось очень широко в Польше, Европе и за границей, в «Вашингтон Пост», «Таймс» и т. д., и спровоцировало целую волну сетевого креатива. Не только появилось огромное количество мемов, демотиваторов, карикатур, появились в Твиттере и на Фейсбуке аккаунты несуществующей Демократической республики Сан-Эскобар, в Польше были исполнены многочисленные песни, посвященные свежее испеченной стране, поставлены юмористические номера, а сам Вашиковский стал победителем плебесцита «Серебряные уста» в 2017 году за наиболее резонансную фразу года.

Во всех вот этих примерах аберрация является, конечно же, результатом нарушения принципа кооперации Пола Грайса, прежде всего максимы качества информации и релевантности. Но исследователи, занимающиеся лингвистическим абсурдом, подчеркивают, что это, скорее, обратная сторона, изнанка смысла, и особенно в таком аберрационном дискурсе, конечно, присутствует определенный парадокс.

Показательны случаи не узуального, семантического, а прагматического аномального номинирования, обусловленного экстралингвистическими факторами. Например, в 2010 году по просьбе французов Еврокомиссия отнесла улиток к классу сухопутных рыб. И это записано, есть соответствующие акты, действующие на территории ЕС. Разумеется, причина такого переименования и новой категоризации улиток ис-



ключительно утилитарная, потому что французы заинтересованы в том, чтобы хозяйства, занимающиеся разведением улиток, получали те же дотации, что и рыбные хозяйства. Но это не единственный, конечно, случай, когда экономико-обусловленная классификация Брюсселя расходится с классификацией биологов. По тем же причинам Еврокомиссия решила, что морковь — это фрукт, поскольку в Испании и Португалии очень популярно морковное варенье, которое, согласно законам ЕС, может производиться только из фруктов.

М. В. ИЛЬИН: Нельзя ли в логике, которую Сурен предлагает, привести эти номинации по разным мирам? И тогда рассмотреть и межмировые переходы?..

С. Т. ЗОЛЯН: Безусловно. Не будем углубляться в классификации, отметим, что морковь в биологических текстах и морковь в юридических текстах — они разные. Кстати, это хороший пример действия не референтной, а когерентной семантики: нужно морковь соотнести с вареньем.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это то же самое, что я упоминал раньше: когда образ Татьяны Лариной применяют к реальной девушке. Это пример того, как нарративы «нереального» в искусстве, в литературе, в кино формируют смысловую картину реального мира.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Указание на аберрацию может стать приемом по дискредитации оппонента. Зачитаю заявление Дмитрия Медведева: «Мне, например, очень грустно, что президент Обама выступая с трибуны ООН, перечислял угрозы, которые стоят перед человечеством, на первое место поставил соответствующую болезнь — лихорадку Эбола, на второе — Российскую Федерацию, только на третье — исламское государство. Мне даже не хочется это комментировать, это печально, это какая-то аберрация в мозгах». То есть указание на такую умственную аберрацию оппонента и элиминация его вменяемости как политического актора позволяют говорящему занять позицию эксперта и выносить оценочное суждение на тему описываемой ситуации.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Тут много обстоятельств и факторов. Любая власть играет на аларме и хорроризации, потому что безопасность, обеспечение преодоления страхов, неопределенностей — базовая ценность социогенеза. Поэтому так важен образ всемогущего врага, которому мы под мудрым руководством должны противостоять. И тут в ход идут разные метафоры, например уподобление России «Империи Зла». И такая хорроризация взаимна.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Это как бы сегмент тематического поля «болезнь» разворачивается по сценарию «общество — больной организм», а «субъект политической власти — больной человек». К такому типу аберрации отсылают уже сами заголовки политических статей, огромное количество их, конечно, в Интернете можно найти: «Весенняя галлюцинация в украинском политическом цирке», «Политика Украины — политика бреда», «Бред сумасшедшего: в Европе раскрыли, что Россией управляет мировое сообщество» и т. д. Номинальная правда здесь соотносится с теорией суппозиции формальной логики, которая всегда основана на идее существования и корреляции названия с десигнатом



или понятием вне зависимости от его содержания. Но суппозиция может соотноситься также с альтернативным по отношению к действительности, воображаемым миром в случае номинаций, выполняющих функцию подлежащего. Ну, и, судя по логике таких конструкций, как «Путин продолжает бредить о несуществующей Новороссии» или «Трамп не мешает Климкину бредить о зоне свободной торговли с США для России», адресат не предполагает реальной возможности существования Новороссии как независимого государства и зоны свободной торговли для США и России. И вот в случае таких глаголов: «бредить», «галлюцинировать», «мнить себя», значения которых уже включают в себя сему креации и вымысла, суппозиция именной группы (в позиции дополнения) указывает на существование в возможном мире, созданном благодаря фантазии политического субъекта: «Соединенные Штаты также уязвимы, пусть и мнят себя хозяевами Вселенной», «Путин мнит себя Наполеоном», «Вашингтон совершенно искренне мнит себя мессией, ведущим за собой человечество».

Результатом такой аберрационной мыслительной деятельности является, конечно, ложь, фальсификация, фантом, мираж, что вообще коррелирует в современной медийной культуре с понятием постправды, названным, кстати, словом 2016 года по версии Оксфордского словаря. Постправда — вот это, как раз-таки, наше двоemiрие, двоемыслие.

Обращает внимание использование персуазивных метаоператоров (термин А. Авдеева и Г. Хабрайской, см.: (Habrajska, 2005)), в качестве такого рода модальных единиц выступают «мол», «якобы», «типа», «дескать», то есть как текстовые маркеры аберрационного контекста, а также графические ресурсы — кавычки. Например, у Шендеровича часто используется «типа выборы», «типа невесты», «типа суды» — все это взято в кавычках, еще и само слово «типа» создает усиленный эффект.

Еще, если мы говорим о лингвистическом анализе информационного контента, важно обратить внимание, что в медийных текстах фигурирует группа полисемантических знаков, которые в предикативной функции могут отсылать как к реальной, сенсорно воспринимаемой действительности, так и к умственной аберрации — индивид придумывает несуществующую действительность, воображает иллюзорный мир. К лексемам такого характера относятся единицы, обозначающие восприятие мира посредством органов чувств: кто видит, слышит, чувствует, чувствует *что*? А также характерная для русского языка аффективная диатеза, в которой субъект психического состояния стоит в форме косвенного дополнения обычно дательного падежа: кому видится, слышится, чудится, чувствуется *что*? В польском языке нет таких конструкций. «И снова Западу видится рука Москвы». Вот замечательный пример: «Я не считаю ваши голоса, я их слышу» — это лозунг избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского 2011 года. Этот двусмысленный слоган, да еще и с такой соответствующей графикой, потенциально указывающий на аберрацию политического субъекта, спровоцировал целую волну опять же сетевого креатива, в «Живом Журнале» появилось несколько постов по поводу этого плаката, где Жириновского назвали новым Нострадамусом и внуком Ванги, а также предложили принять участие в новом сезоне «Битвы экстрасенсов».



К последней группе знаков примыкают единицы, которые однозначно отсылают к воображаемой реальности — чудится, кажется, мерещится *что*: «У Порошенко паранойя — ему чудится теракт в столице», «Трампу кажется, что он справится с Путиным», «Шведам снова мерещится Полтава», «Западу мерещится ползающая Россия». Конечно, если мы говорим о механизмах текстуализации, то в них происходит разная поляризация. Скажем так, в последнем примере — «Западу мерещится ползающая Россия» — «мерещится» означает желательную для оппонента оптативную действительность, но полярная перекодировка реферируемого содержания с минуса (слабая, униженная, ползающая Россия) на плюс наступает в завершающем блоке текста: если Россия и ползет на коленях, то только в православных храмах к Богу, поэтому и сильна. Так что даже такой аберрационный контекст можно «вывернуть», скажем, персуазивные свои намерения осуществить.

Ну, и желательную, совершенно оптативную реальность в политических текстах символизирует лексема «грезить», маркирующая именно ту часть абerratивного дискурса, которая относится к будущему, к несбывшейся проекции оптимального развития событий: «Украинцев не то что Гондурас, даже соседи не беспокоят, а о Европе смутно грезят как о рае, но без подробностей» и множество других примеров.

Аберрация происходит и на уровне текстуализации субъекта повествования, скажем, за счет нарушения лексико-грамматических, стилистических норм языка. Например, как в тексте Шендеровича, это один из любимых примеров. Сокращение форм склонения, спряжения (характерных для пародий на речь иностранцев) сигнализирует непонимание и этот абerratивный контекст маркирует: «Я думал понимать читать по-русски, оказалось не понимать, смотреть бумага, тереть глаза, ехать крыша. Много буква...» — это примеры текстуализации абerratивного контента.

В парадигме современной коммуникативной культуры, которая характеризуется не только тем, что я назвала (сфокусированностью на социально-резонансных фактах, открытой социальной оценочностью, повышением эмоциональной плотности высказывания, установкой на раскрепощенность, языковую игру), но и иконизацией семиосферы, расширением визуальной культуры, следует отметить также интересемиотические или мультимодальные приемы указания на абerratацию критикуемого политического субъекта. Я здесь использую термин Сергея Эйзенштейна: «монтаж аттракционов», то есть фактически когнитивное сближение текстов, относящихся в данном случае к разным дискурсивным сферам-источникам. Например, серьезное политическое выступление перемежается с юмористическими миниатюрами. И вот этот второй текст, репрезентирующий комический дискурс, является отражением как бы в кривом зеркале дискурса абerratивной серьезной политической коммуникации. Есть множество клипов, созданных в Интернете, они доступны и очень популярны, набирают большое количество просмотров. Одним из иллюстративных стал, например, очень популярный ролик 2015 года «Кто лучший юморист: Путин или Карцев?», в котором синхронным переводчиком президента является юмо-



рист Роман Карцев, а сам ролик представляет собой нарезку чередующихся фрагментов пресс-конференции Путина 2014 года и юморески Карцева 1990-х годов на текст Михаила Жванецкого: «Здесь будет лучше. Но не сегодня, а завтра». Закончить рассуждение о конструировании дискурса аберрации, напрямую связанного с реализацией стратегии дискредитации, хотелось бы словами философа-просветителя Вольтера: «Торжество разума заключается в том, чтобы уживаться с людьми, лишёнными разума».

С. Т. ЗОЛЯН: Имеет смысл уточнить, что мы понимаем под аберрацией. В некоторых случаях это можно было понимать как метонимию — одно вместо другого, это можно понимать и как блендинг, когда у нас смешиваются два концепта, иногда — как абсурд. А в примере из Жириновского — это пример поэтического употребления, когда одновременно реализуются оба значения слова «голос». Определяя аберрацию как отклонение от нормы, вспомним, что любое творчество и есть отклонение от нормы. Приведу тезис Бориса Гаспарова: «Знание языка — это умение отклоняться от нормы».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это очень близко к остранению В. Б. Шкловского, к деконструкции Ж. Деррида. Когда Жак Деррида во второй раз приезжал в Питер, он говорил: «Я не понимаю, что вы все так носитесь с деконструкцией. Я же ничего нового не сделал, просто перевел термин Шкловского». Ерничал, конечно, но всё же... Поэтому тут все крутится вокруг какого-то *différance*, какого-то накопления различности и различаемости.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Проявление десемантизации я вижу, например, в высказываниях Черномырдина: «Я ничего не буду говорить, потому что опять что-нибудь скажу».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это не десемантизация, это одно из проявлений нонсенса, а нонсенс — это не бессмыслица, а умножение и факторизация смысла.

С. Т. ЗОЛЯН: Вы посмотрите с иной позиции: рассматривайте Черномырдина не как такого горе-оратора, а как новатора русского политического дискурса.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: Можно привести примеры из разных культурно-языковых сообществ: в России — это Черномырдин, в Польше — Валенса, на Украине — Кличко господствует в данный момент. В Америке — Буш, бушизмы. Но важно, что механизмы будут общими, то есть это в значительной степени алогизмы разного порядка. Но применительно к рассматриваемым нами механизмам текстуализации и смыслообразования интересно то, что одни такие аномальные, абсурдные высказывания уходят просто в небытие, а другие порождают обширнейшие тексты. Почему они ими становятся? Что оказывается решающим: площадка тиражирования (медиа), а может, статус самого субъекта говорящего?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Еще один аргумент, почему креативность в рекламе, сама реклама, брендинг, маркетинг работают именно на нахождении отклонения от нормы, стереотипа, которое будет цеплять, привлекать внимание. Все построено на нахождении какого-то нетри-



виального цепляющего отклонения. Это именно *différance*, нахождение чего-то такого, что выводит за рамки привычного стереотипа в другие ассоциации и значения.

С. Т. ЗОЛЯН: Разумеется, важна также и конструируемая фигура говорящего. Так, Алексей Плудер-Сарно (1994), характеризуя политиков как сказочных персонажей, описывал Черномырдина как Иванушку-дурачка, который вроде бы глупости говорит, но на самом деле режет правду-матку. Именно за счет приписывания к высказыванию конструируемой фигуры говорящего возможна дополнительная семантизация, в том числе и вызывающая шок. Когда один из бывших функционеров КГБ говорил о спасении *висящей на крюке России*, он имел в виду альпинистский крюк и горноспасательные ассоциации. Однако его оппоненты интерпретировали образ висящей на крюке России как объект пыток со стороны соответствующего ведомства. Высказывание интерпретируется путем его соотнесения с автором, а лишь только после этого с описываемой ситуацией. В данном случае любопытным и превратным (в этимологическом смысле слова — перевернутым) образом реализуется принцип романтической герменевтики «понять автора (лучше, чем он сам)».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: К вопросу о нередкой квалификации информации как бредовой. Бред — это не просто фантазия, но и некая связанная очень целостная осмысленная картина мира. Человек может исходя из этого бреда объяснить все что угодно, как, например, в теории заговора. Но назвать это «бредом» — это уже занятие некой оценочной позиции. С какой-то позиции это бред, а с какой-то иной — это новый взгляд на существующее. Одна из студенток, которая отвечала на экзамене на вопрос о плане Октябрьского вооруженного восстания, сказала, что он включал в себя захват мостов, вокзалов, телефона, телеграфа, банков и метро. Я спрашиваю: «Какое метро?», а она: «Как какое — Кировско-Выборгскую линию. «Почему?». Она говорит: «Как почему? Потому что она соединяет два пролетарских района города». Абсолютно осмысленная картина мира — на любой вопрос у нее будет ответ.

И тогда получается не столько семантика алетических модальностей, сколько эпистемическая семантика, потому что функционально знать «что?» — это привязка к субъекту. Там $Ka(p)$, где K — функтор знания субъекта a о p . А будет привязка к другому субъекту — будет $Kb(p)$. Поэтому то, что вы говорили о переходе между мирами, — это не переход между мирами, это переход из одной предметной области (онтологии) в другую. Семантика возможных миров имеет привязку, все-таки, к одной онтологии, к одной предметной области. А у нас получается даже не только идентификация по описаниям состояния, но еще и квантификация по онтологиям, по разным предметным областям.

М. В. ИЛЬИН: А по онтологиям вы имеете в виду в строгом смысле?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Буквально в куайновском смысле: существует то, по чему пробегает связанная легенда. И мне кажется, что в этом плане можно говорить о следующем уровне квантификации: о квантификации по типам существования. Возможные миры относятся к



определенному типу существования. Это альтернативные описания состояния одной и той же предметной области. Один из споров между Хинтиккой и Крипке сводился к вопросу отождествления сквозь миры: нужна ли каждый раз новая процедура идентификации предмета, прослеживающая его «сквозь миры». Согласно Хинтикке (Hintikka, 1969; Hintikka, 1975) — да, а согласно Крипке (Kripke, 1980; Kripke, 2013), эту роль выполняют «жесткие десигнаторы» (например, указательные местоимения и имена собственные). В нашем случае, как я понимаю, мы претендуем на некий аппарат, который позволяет увязывать между собой совершенно разные типы существования или разные паттерны. У меня родился такой несколько странный термин или идея: то, о чем мы говорим, есть *паттернизация текстуализации смыслообразования*. Под паттернизацией имеется в виду привязка к совершенно разным рациональным контекстам и паттернам, будем называть их нормативно-ценностными системами с последующей уже потом конкретизацией, но фактически речь идет о паттернизации текстуализации. И такая паттернизация текстуализации с логико-семантической точки зрения, является квантификацией по предметным областям.

С. Т. ЗОЛЯН: Несколько моментов, которые подтверждают эту точку зрения, но в то же время взывают к уточнению. Во-первых, это семантика пропозициональных установок, причем в интерпретации Хинтикки (Хинтикка, 1980), которая позволяет рассматривать эти миры как совместимые с установками говорящего или, наоборот, не разрешает. Отсюда возможна ориентированная на говорящего типология онтологий, хотя я предпочитаю использовать куда более нейтральный термин «предметная область», который не влечет метафизических ассоциаций. Во-вторых, совсем необязательно, чтобы для системы (или модельной структуры — в смысле Крипке) этих возможных миров мы бы задали одну-единственную предметную область, потому что некоторый индивид из одного мира вовсе не обязательно должен существовать в других. Тем самым предметные области различных миров текста могут различаться.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Это и есть самое интересное, как из предметной области литературы предикаты переносятся в реальность. Или как предикаты из какого-то бреда вдруг переносятся в предметную область общего политического дискурса и начинают обсуждаться.

С. Т. ЗОЛЯН: Сказанное опирается именно на конкретные описания таких межмировых переходов — из миров литературы в действительные миры и обратно (Золян, 1991), а затем, уже на основе найденных моделей, на самоописание политических процессов, в частности ситуации вокруг Карабаха в 1918, 1921 и 1988 годах, как одни модально-темпоральные состояния мира отождествляются и переносятся из настоящего в прошлое (Золян, 1994; 2012), Наибольший интерес представляет то, как субъекты подобных описаний рассматривают эти состояния одновременно как одно и то же и в то же время — как не одно и то же (например, используя дихотомию де-факто — де-юре). Термин *паттернизация* представляется мне удачным — ранее при описании подобных явлений мы в нашем проекте использовали термины «механизм» и «фреймы». *Паттернизация* позволяет их объединить.



Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: *Механизм* — хорошее слово: что-то за что-то цепляет, и что-то при этом происходит. Говоря о паттернизации, имеется в виду, что мы претендуем на квантификацию по предметным областям. Мы квантифицируем по разным паттернам. Получаются переходы не просто между описаниями состояния в рамках одной предметной области, но переходы между предметными областями: из мира искусства в мир политики, из мира политики в обыденное сознание...

С. Т. ЗОЛЯН: Чтобы логическим жаргоном не пугать, может вместо *квантификации* будем говорить о «прослеживании» сквозь возможные миры.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Не только сквозь миры, но и между предметными областями. Кросс-онтология. Это позволит выйти на следующий уровень: если Д. Льюис и С. Кришке квантифицировали по мирам, привязанным к одной предметной области, ее состояниям, то мы предлагаем квантифицировать вообще по предметным областям. Здесь как раз очень важный момент перехода. Я на это наткнулся в связи с проблемой воли. Концептуализировать волю — это целая проблема. И мне в свое время очень помогло название книжки штангиста Ю. Власова «Формула воли — верить». Имеется в виду не вера конфессиональная, а некое приравнивание существования — как в задаче на нахождение: дано — известно что дано, и найти x (икс). Для решения ты допускаешь существование икса в той же степени, что и существование данных. Если ты не приравниваешь их по существованию, тогда задачка нерешаема.

С. Т. ЗОЛЯН: Икс, который мы должны приравнять к настоящему и будущему?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Да. В данном случае получается, что нужно допустить существование будущего, верить в него, и в рамках этой предметной области строить возможности перехода. И тогда ты просто консолидируешь ресурсы, ты находишь путь, решаешь задачу перехода в это будущее. Если ты не допускаешь его существование, то задача неразрешима. В этом плане между ученым и матерью, которая ставит свечку, чтобы сын вернулся с войны, разницы нет. И в том, и в другом случае: и когда ученый ставит эксперимент, и когда мать ставит свечку — срабатывает один и тот же онтологический импульс: «Да будет так!». Вот это и есть то, что имел в виду Ю. Власов: «Да будет так!». Если не верю, не допускаю этого, что будет так, я не могу начать действовать.

С. Т. ЗОЛЯН: Ваш пример хорошо показывает зависимость планируемого действия от пропозициональных установок. Приведу обратный пример: в 2012 году правящая в Армении партия вышла на выборы с лозунгом «Верь, чтобы изменить!». А поскольку ей уже никто не верил, то ничего не изменилось. Так что виноват оказался народ, а не партия.

По семантике и тем более прагматике высказывания о будущем могут смыкаться с перформативами. Так, еще Ясперс показал, как политическая программа может маскироваться под прогноз: когда Гитлер говорил, что через пять лет в Европе не будет евреев, это был не про-



гноз, а программа, которую он реализовал. Мое утверждение «Завтра взойдет солнце» есть предсказание, которое формулируется аналогично перформативу: «Да будет свет!». Хотя на самом деле солнце взойдет, и вы можете поразиться силе моих слов: «Какой всемогущий человек! Сказал, что солнце взойдет — оно вошло». Если же я говорю: «Давайте завтра соберемся в десять часов», то в данном случае это получается приказ, чистый перформатив, но люди могут и не собраться, перформативная сила высказывания остается, но как предсказание оно окажется ошибочным. В высказываниях о будущем содержится спектр возможных осмыслений, связанных с различной степенью проявления как перформативности, так и нарративности. Так, в ряде политических дискурсов будущее оказывается проекцией не черного настоящего, а золотого прошлого, должно быть восстановлено то, что было хорошим и справедливым состоянием мира. Это то, что принято называть восстановлением исторической справедливости. Во многих языках будущее — самое проблематичное время, нередко то, что описывают как будущее, есть различные типы модальности. В большинстве африканских языков отсутствует и такая форма будущего. Та или иная модальность присутствует в высказываниях о будущем даже в языках с развитой морфологической системой выражения будущего, например в русском. Пропозициональные установки, о которых говорил проф. Г. Тульчинский, — они и основываются на модальности, и через понятие пропозициональной установки может быть осуществлен прямой выход на говорящего.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: У меня комментарий относительно перевода текста в поступок. Это тема в духе практических рассуждений Аристотеля. В «Никомаховой этике» он приводит пример практического силлогизма: из посылок «Все вкусное нужно есть» и «Это яблоко вкусное» следует не то, что это яблоко нужно съесть, а то, что само съедание яблока — некое действие (Аристотель, 1983, с. 87). Нужна не просто иллюкативная сила, а такая, которая переходит в некоторое действие. Для меня с этим начинается проблема воли или насилия, потому что переход может быть либо за счет принуждения, либо за счет свободной воли. Если все сладкое ты должен есть, то — ешь. Это в духе Бармаля из фильма «Айболит-66»: «Я всех сделаю счастливыми, а кто не хочет, того в бараний рог сверну, в порошок сотру и брошу акулам». Или это свободная воля, если она есть. Мне кажется, что я принимаю решение. Вы говорили о том, что перформатив — это некий акт, это текст вместе с автором, а нарратив — это просто текст. В данном случае мы в процессе общего рассуждения пришли к тому, что в конечном итоге настоящее является ключевым моментом, а дальше мы к этому существу применяем различные оценочные, воображаемые объекты. В этом плане это действительно управление настоящим. Но тогда у меня вопрос: чем тогда смысл отличается от мотивации? А мотивация, согласно фон Вригту, — это не причина поступка, а его объяснение (Wright, 1971). Это значит, что мотивация есть диспозиционное качество, которое проявляется в



момент его проявления. Как можно выяснить, сладкое это или несладкое? Попробовать на вкус? Как можно выяснить, это растворимое или нерастворимое? Бросить в воду. Как можно выяснить, ведьма женщина или не ведьма? Камень на шею и — в воду. Утонула, значит, нормальная была, если всплыла — ведьма... И тогда получается, что мотивация — это поздняя рационализация. И при некотором интеллектуальном усилии всегда можно найти еще более глубокую мотивацию. Когда судят человека, его судят не за действие, а за мотивацию. Есть мотивация отягчающая, есть облегчающая, может быть отсутствие мотивации — состояние аффекта, он за себя не отвечал, он был неменяемый. Тогда получается, что наши попытки нарративизировать перформативы — это всегда попытки поздней, иногда защитной, иногда обвиняющей рационализации. Задним числом, постфактум.

Ж. Р. СЛАДКЕВИЧ: При переводе текста в поступок, как мне кажется, ключевыми будут категории прагматики. Например, разграничение прямых и непрямых речевых актов, потому что одно дело — это сказать: «Закрой окно». Но если я войду в помещение и скажу: «Ну и холодина!» или «Сибирь просто настоящая!», то не каждый прочитает это как просьбу закрыть окно, и не каждый ее выполнит. То есть этот текст не будет переведен в поступок, если не прочитают правильно непрямой речевой акт.

С. Т. ЗОЛЯН: Это может быть описано как коммуникативная неудача, которая возможна и при прямом коммуникативном акте. Например, я скажу: «Закрой окно», а мне ответят: «А ты кто такой?». То есть возможен уход в область соответствующих социальных условий. Но можно рассматривать и поступки, и их мотивацию как находящиеся в едином пространстве текстов. Рассматривая смысл как слова, так и поступка я предполагаю определенную текстуализацию. Я поступок описываю как текст, я намерение описываю как текст, и для меня это сопряжение двух текстов. Для меня вопрос — как описать это сопряжение, и для меня как лингвиста проще оперировать текстами и искать связи между ними, а не между тем, что они описывают. Я перевожу поступки в их описания, и поэтому для меня поступка как такового, независимого от его описания, не существует. Соответственно, в зависимости от описания будут отличаться и объяснения. Вероятно, следует установить некоторую иерархию между этими объяснениями и описаниями. Например, можно, как предлагает Григорий Львович, смысл ассоциировать с мотивацией, а мотивацию — с объяснением. Или, как обстоятельно доказывает Джон Сёрль, есть различие между интенцией и каузальностью. Он подробно описывает, как Гаврила Принцип задумал убить эрцгерцога, что было базовым действием, что производным. Так, он перепутал улицы, но это же сделал и шофер эрцгерцога, так что Гаврила совершил то, что он задумал, но не так, как он задумал. Далее, поскольку Гаврила был плохой стрелок, то, по Сёрлю, он совершил ряд связанных действий: поднял пистолет, прицелился, нажал на курок, тогда как для опытного стрелка это было одним действием. Намерени-



ем Гаврилы было не столько убить эрцгерцога, сколько поднять сербское восстание, но не спровоцировать мировую войну. Так что если считать, что выстрел Гаврилы стал причиной Первой мировой, то это никак не входило в его намерения, более того, никто не мог бы предсказать ход событий, последовавших после выстрела Гаврилы, например, революцию в России (Searle, 1980, p. 65–64). Дж. Сёрль очень подробно анализирует связь между различными действиями (каузальную, интенциональную) и состояниями и показывает различия между интенциями, причинами и поступками (действиями). В другом месте он приводит пример Д. Беннета и Д. Дэвидсона: Джо замыслил убийство Билла, они охотятся на кабанов, Джо стреляет в Билла, но, поскольку он плохой стрелок, он попадает в кабана. А разъяренный кабан, увидев, что в него целится Билл, нападает и убивает этого Билла, что и замыслил Джо. Теперь как понять: это сознательное убийство, несознательное нечаянное убийство или же несчастный случай, и кто здесь убийца? (Searle, 1980, p. 68–69). Или же другой пример – что считать действием: на аукционе я случайно поднял руку, а мне говорят «Плати! Нам нет дела, было ли твоё действие намеренным или нет».

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Продолжая эту тему... Когда, например, в биатлоне стрелок выезжает на стрельбище – что он делает: он, сдерживая дыхание, сгибает палец, или он нажимает на курок, или он целится и хочет попасть, или он хочет выиграть соревнования и наконец-то купить квартиру и жениться? Возникает вопрос глубины анализа и интерпретации. Но не только: это задача профессиональной подготовки, тренинга – перевести человека, его физические действия в автоматический режим, чтобы он ставил задачи дальние-дальние, не думая о сгибании пальца, дыхании и т. п.

Можно выделить три уровня нарратива. Первый – это фактология, просто факты. Следующий – это каузальный, или детерминация: почему это произошло, строится взаимосвязь между фактами. Но рано или поздно появляется необходимость в третьем нарративе – для чего и зачем? В науке – как в детективе – появляется Пуаро, появляется заключительный рассказ мисс Марпл, которые говорят, что же за всем этим стоит, чей же замысел здесь реализован. Потому что вроде каузальность есть, но какие-то разрывы между фактами. В принципе, и различие между *humanities* и *science* в том, что *science* останавливается на втором нарративе, выстраивая каузальные цепочки и конструируя некий пазл. Но какой замысел за этим стоит? И для этого возникает необходимость вменяемого субъекта, который имел некий план. В *science* это тоже есть, но в контексте (обоснование актуальности проблемы, актуальности задачи, выбор методов), и в конце все равно будет интерпретация, как и практическое значение исследования. Это тоже нарратив третьего уровня. Поэтому мне кажется, что наш разговор вращается все больше и больше вокруг нарратива третьего уровня – зачем, в каком практическом контексте и в контексте какой практики это рассуждение строится. Эти три нарратива, хорошо коррелируют с моделью науки у



Й. Галтунга (Galtung, 1977) в виде треугольника между фактом, целью (или ценностью) и теорией. Отношение между теорией и фактом — это эмпиризм, позитивистская часть науки, когда есть плоскость фактологии и плоскость теории, и ты переходишь с помощью верификации и фальсификации. Отношение между фактом и целью — это критика, без которой наука не обходится. И отношение между целью и теорией — это конструктивизм, выстраивание некоей модели. Это те же три нарратива.

С. Т. ЗОЛЯН: Это не только три нарратива, это еще и три структурных типа нарратива. Вспомним известный пример — у трех рабочих спрашивают «Что ты делаешь?». Первый отвечает: «Не видишь, камни таскаю» (это — наблюдаемое действие). Второй: «Деньги зарабатываю» (субъективная цель, известная только ему, он описывает ее, а не свои действия). Третий гордо отвечает: «Строю Шартрский собор» (это и интенция, и цель, и описание своих интенции и действий, но это высказывание не выводимо из наблюдаемого действия, а предполагает некоторое предвидение будущего). Ситуация подгоняется под один из этих трех типов нарративов. Человек, который тащит камни, может даже не знать, что он строит. Должен быть определенный план. А план — это знак будущего в настоящем. В данном случае это будущее должно быть зафиксировано в чертеже, который станет собором в будущем.

Поэтому я бы поостерегся говорить о *замысле*, о том, что, как нам кажется, думает индивид, если отсутствует какая-либо знаковая репрезентация замысла. Потому что у нас нет никакой репрезентации. Мы, конечно, можем гадать, с какой целью тот или иной поступок был совершен, но для этого нужно создать текст. Или же применительно к тексту — мы не можем знать, что имел в виду Пушкин, когда писал то-то и то-то, но у меня есть целый набор интерпретаций того, что якобы думал Пушкин, когда писал то-то и то-то. И я рассматриваю эти зеркала, которые создают стереометрический образ. А что реально думал Пушкин — еще Лев Выготский об этом писал: представьте, что мы нашли документ, где сказано, что имел в виду Шекспир, создавая образ Гамлета — неужели тогда бы прекратился бы имеющий многовековую историю процесс интерпретации «Гамлета»?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Несколько слов относительно культуры, потому что для меня культура — это некая машина осмысления, это то, что порождает осмысление. По Лотману культура — система внегенетического наследования информации о поведении. Другими словами — система порождения, отбора, хранения и трансляции социального опыта. Для нашего анализа это система моделей, паттернов, определяющих сознание и определяющих поведение. В этом плане культура выступает не только как мера освоения действительности и мера социализации, но и как мера осмысления действительности, упорядочивания картины понятного мира.

Любая деятельность предполагает цели, некий желаемый результат, правила его достижения и средства. И культура состоит из ценностей, норм и знаков. Это для меня некий исходный бэкграунд, он должен включать знаки культуры: это первичные знаки культуры — ее артефакты; и вторичные знаки вплоть до символов и языка.



Язык — это не только коммуникация, это и знаки знаков, это путеводитель по культурам. Прежде чем войти в какую-нибудь культуру, надо освоить ее язык. Очень любопытная концепция языка была у Бориса Фёдоровича Поршнева. Согласно Поршневу язык существует не для передачи мысли, а для того, чтобы добиться цели (Поршнев, 2007, с. 87—207). Когда я подхожу к окну и говорю: «Смотрите, солнце взошло», имеется в виду не просто, что я делюсь радостью узнавания («Смотри-ка! Солнце опять взошло!»), а значит, я обращаюсь к ближнему, может быть, к жене: «Вставать уже пора!», «Кофе варить пора!», или еще что-нибудь. Вне управленческого контекста, вне контекста коммуникации бессмысленно говорить об использовании языка.

В этой связи я давно позволил себе такую экстракцию из идей многого. В качестве знака, если рассматривать любой элемент культуры, различая означающее и означаемое. Под означающим можно понимать некую материальную форму знака, а в означаемом — различать социальное значение и личностный смысл. Для характеристики их отношений можно воспользоваться аналогией. Так, если взять два треугольника, образованные от пересечения двух отрезков, то эти треугольники могут быть разными по площади и конфигурации, но у них будут две общие характеристики: вершины в точке пересечения отрезков и размер углов при этих вершинах. Аналогично и при коммуникации у людей могут быть самые различные личностные смыслы, но сама коммуникация, понимание возможны при наличии знака (вершины в точке пересечения) и некоего инвариантного социального значения. Я скажу «лето» и для кого-то это Майорка, для кого-то Канары или еще что-нибудь; для кого-то это ягоды, грибы; а для кого-то — огород-огород-огород. Личностные смыслы разные, но мы понимаем, что речь идет о наиболее теплом времени года в северном полушарии.

В свою очередь, в социальном значении можно находить предметное значение (о чем идет речь?), функциональное смысловое значение, а в личностном смысле можно выделить оценочное отношение и переживание. Все это является фактически проявлением деятельности. Предмет деятельности, социальное значение этой деятельности, некое оценочное отношение к ней и ее переживание. Если представить эти компоненты в виде матрешки, то переход от материальной формы к переживанию будет процессом распредмечивания, понимания смысловой структуры опыта, а обратный переход от переживания к материальной форме знака — опредмечиванием, воплощением опыта. Понимание любого явления может быть реализовано на любом из этих уровней. Например, осмысляя вот этот стол: я понимаю, что это такое тут стоит, дальше я понимаю, какой это стол, в какой системе паттернов активного опыта он используется (это учебный стол, игровой стол или еще что-нибудь), дальше я могу понять автора этого стола, его отношение к нему, старание или нет, и в конце концов даже сопережить его опыту. Эти уровни — они же и уровни герменевтики. Можно эту модель назвать глубокой семиотикой (*deep semiotics*), дополняющей классическую семиологию, восходящую к французскому структурализму, и семиотику, восходящую к американскому прагматизму и к ал-



гебре отношений Чарльза Пирса. Глубокая семиотика восходит к традиции немецкой учености, к Гумбольдту, к Фосслеру и к той традиции, которая продолжилась в России (Потебня, Лосев), с элементами влияния имяславцев — включения личности в семиотический анализ. Почему глубокая? Потому что личность является источником, средством, результатом осмысления. Вне личности культуры нет. Всякая культура оживает, когда появляется носитель культуры. Когда появляется археолог, он что-то домысливает, он сопереживает носителям этой культуры и, таким образом, восстанавливает какую-то смысловую структуру их опыта.

Ключевую роль в нашем контексте играют смысловое функциональное значение, некие способы деятельности, некие социальные способы деятельности, некие паттерны или нормативно-ценностные системы (НЦС). Любая культура, любая субкультура является НЦС. Язык — это тоже НЦС, потому что у него есть цель и средства, у него есть те способы организации, которыми он реализуется. В этой связи структура воплощенного замысла предполагает нормативно-ценностный синтез знания реальности, знания о должном и знания возможностей (программы реализации).

В обыденном сознании это происходит в синкретичной форме. Ребенок познаёт мир не в понятиях, он познаёт его в идеях, для него стол — это и программа деятельности, и определенная ценность, он еще его и обыгрывает: и как магазин, и как космический корабль, как что угодно. В более зрелых формах опять же мы имеем дело с идеями. Например, идеи либерализма — это что? Это определенные представления о существе, это определенные представления о должном и определенные представления программы деятельности, как существе привести в соответствие с должным. Идеи коммунизма — то же самое, идея относительности — то же самое.

В науке эти три аспекта аналитически сепарируются. Мы предпочитаем иметь дело не с идеями, а с понятиями, которые безоценочны, которые можно тематизировать, концептуализировать и операционализировать и таким образом верифицировать или фальсифицировать. Но тем не менее наука все равно погружена в оценочный и нормативный контекст (третий нарратив) — хотя бы на стадии формулировки актуальности проблематики, а потом — в обосновании практического значения разработки. В любой программе исследования, в заявке на грант, в тексте публикации это присутствует.

И этот нормативно-ценностный синтез, и соответствующие НЦС проходят стадии институционализации. Например: мы вчера на эту тему спорили, после мне в голову пришла идея, и дальше при наличии общения она становится каким-то общим пониманием, при регулярном общении формируется неформальная группа. Дальше появляются лидер, вербовка, программа, сплоченная группа и, наконец, социальное признание, официальный статус, медиа, финансирование — и мы имеем дело с социальным институтом. На первой стадии ведущая роль у личностного смысла и неформальных отношений, на второй стадии — социального значения, на третьей — формальных отношений.



Важно, что в этом процессе ключевую роль играют коммуникация и соответствующие тексты, нарративы. Таким образом, коммуникация определенной интенсивности, регулярности и упорядоченности играет ключевую роль как в институционализации, так и в порождении института. Не только институты задают коммуникацию, но и коммуникация порождает институты в результате ее упорядоченности, интенсивности. В этом плане это для нас особая какая-то веточка, как мне кажется, важная и интересная. Роль коммуникации и социальной семиотики, учитывая не только институциональную среду, но и формирование этой среды, ее постоянное переформатирование. В этой связи я и пришел к идее паттернизации текстуализации смыслов. Но для меня ключевой момент — это личностный смысл, роль личности и оценочного отношения. Оценка — это то, что определяет занятие позиции в смыслеобразовании. Субъект осмысления, автор, его позиция — она задается оценкой.

С. Т. ЗОЛЯН: Это скорее интерпретатор.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Да, интерпретатор, вмняемый субъект.

С. Т. ЗОЛЯН: Автор — это субъект текстуализации.

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Ответственный, тот, кому вменяется. В конечном счете он занимает какую-то позицию, а эта позиция с неизбежностью носит оценочный характер, порождается какое-то отношение к чему-то. И оценка всегда эмоционально нагружена. Это эмоциональный фактор смыслопорождения. И иллюкуция, помимо прочего, — это зарождение определенных эмоций и отношений. Вот перформатив связан с какой-то эмоциональной разрядкой. Мне кажется, может оказаться любопытной роль оценки в смыслеобразовании и типологизации таких оценок. Эта паттернизация может быть связана с определенной оценочной позицией.

На основе того, что прозвучало в нашей дискуссии, у меня получилась модель паттернов смыслообразования — как некоего пространства, образованного двумя осями. Вертикальная ось — соотношение социального и личностного, горизонтальная — эмоциональная (сила и качество эмоций). Точка их пересечения — исток любой культуры, табуирование, запрет на что-то. Вокруг нее задается зона нормативности. В этом пространстве могут быть обозначены паттерны героизма, ликования, скорби, ужаса, осмеяния, важные для смыслообразования в реальной культуре.

Как решать задачу нормативно-ценностного синтеза знания, оценки и нормы, другими словами: модальностей сущего, должного и возможного? Можно с помощью описания состояния и вычеркивания невозможного, нежелательного и несоответствующего реальности. Во-вторых, можно с помощью модальной системы, квантификации по мирам, по предметным областям.

С. Т. ЗОЛЯН: Вот во всей этой семиотике где у вас знак?

Г. Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ: Любой элемент культуры — текст.



С. Т. ЗОЛЯН: Давайте посмотрим с точки зрения семиотики. Знак — то отношение между означаемым и означающим, которое имеет социальное значение и личностный смысл. Уточним: социальное значение — это ведь тоже оценочное значение, оно же и смысловое отношение. Социальное значение — это также отношение сопереживания, но уже в социальном контексте. Здесь личностный смысл приобретает коллективность («соборность») и контекстуальную прагматику (например, к шпиону мы должны испытывать личную неприязнь, вспомним и практику «пятиминутку ненависти»). Как видим, мы приходим к тому, с чего начали, — к тому, насколько связаны «смыслы в жизни» и «смыслы в языке». Сделав этот круг, мы вместе с тем выявили факторы — перформативные и нарративные, — которые обеспечили эту связь, манифестируя ее в текстах («смысл в тексте»).

Список литературы

- Аристотель*. Соч. : в 4 т. М., 1983. Т. 4.
- Барт Р.* Миф сегодня // Избранные работы: семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. М., 1994. С. 72–130.
- Вебер М.* Основные социологические понятия // Избранные произведения. М., 1990. С. 602–643.
- Золян С.Т.* Семантика и структура поэтического текста. Ереван, 1991.
- Золян С.Т.* Описание регионального конфликта как методологическая проблема // Полис. 1994. №2. С. 131–142.
- Золян С.Т.* Логика предпочтений и решение конфликтов (на примере Карабахского конфликта) // Метод: московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин : сб. науч. тр. / ред. и сост. М.В. Ильин. М., 2012. Вып. 3 : Возможное и действительное в социальной практике и научных исследованиях. С. 39–67.
- Золян С.Т.* К проблеме смысла в социальной семиотике: Макс Вебер сегодня // Слово.ру: балтийский акцент. 2018. Т. 9, №4. С. 27–42. doi: 10.5922/2225-5346-2018-4-3.
- Лассвелл Г.* Язык власти // Политическая лингвистика. Екатеринбург, 2006. Вып. 20. С. 264–279.
- Луман Н.* Общество как социальная система. М., 2004.
- Плуцер-Сарно А.* Государственная Дума как фольклорный персонаж: Пародия, плач, исповедь и пасквиль — жанры русской политики // Логос. 1999. №9. С. 65–79.
- Поришев Б.Ф.* О начале человеческой истории. Проблемы палеопсихологии. СПб., 2007.
- Хинтиikka Я.* Семантика пропозициональных установок. // Хинтиikka Я. Логико-эпистемологические исследования : сб. избр. ст. М., 1980. С. 68–101.
- Galtung J.* Methodology and Ideology. Vol. 1. Essays in Methodology. Copenhagen, 1977.
- Habrajska G.* Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa // Acta Universitatis Lodzianis. Folia Litteraria Polonica. 2005. №7/2. S. 91–126.
- Hintikka J.* Models for Modalities. Selected Essays. Dordrecht, 1969.
- Hintikka J.* The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology // Semantics of Natural Language / ed. D. Davidson, G. Harman. Dordrecht, 1972.



Hintikka J. The intentions of intentionality and other new models for modalities. Dordrecht, 1975.

Kiklewicz A. Błkot w komunikacji: próba klasyfikacji zjawisk // Lewiński P. (red.) Błkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych. Olsztyn, 2015. S. 11 – 26.

Kripke S. Naming and Necessity. Cambridge, MA, 1980.

Kripke S. Reference and Existence. N.Y., 2013.

Lewis D. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic // Journal of Philosophy. 1968. Vol. 65. P. 113 – 126.

Lewis D. Attitudes De Dicto and De Se // Philosophical Review. 1979. Vol. 88. P. 513 – 543.

Searle J.R. The Intentionality of Intention and Action // Cognitive Science. 1980. №4. P. 47 – 70.

Searle J.R. The Construction of Social Reality. N. Y., 1995.

Wright G.-H. von. Explanation and Understanding. Ithaca, N.Y., 1971.

Об авторах

Сурен Тигранович Золян, доктор филологических наук, профессор, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия; ведущий научный сотрудник, Институт философии, социологии и права Национальной академии наук Армении, Армения.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

Михаил Васильевич Ильин, доктор политических наук, профессор, ординарный профессор, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований ИНИОН РАН, Россия.

E-mail: mikhaililyin48@gmail.com

Жанна Ромуальдовна Сладкевич, доктор филологических наук, профессор, директор Института русистики и востоковедения, зав. кафедрой прагматики коммуникации и дидактики русского языка, Гданьский университет, Польша; исследователь, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: filzs@ug.edu.pl

Григорий Львович Тульчинский, доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербургский государственный университет; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург; исследователь, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Россия.

E-mail: gtul@mail.ru

Для цитирования:

Золян С.Т., Ильин М.В., Сладкевич Ж.Р., Тульчинский Г.Л. Смысл в жизни и смысл в тексте (материалы круглого стола) // Слово.ру: балтийский акцент. 2020. Т. 11, №1. С. 7 – 33. doi: 10.5922/2225-5346-2020-1-1.



MEANING IN LIFE AND MEANING IN THE TEXT
(roundtable proceedings)

S. T. Zolyan^{1, 2}, M. V. Ilyin^{3, 4}, Ż. R. Śładkiewicz^{1, 5}, G. L. Tulchinskiy^{1, 6, 7}

¹ Immanuel Kant Baltic Federal University

14 A. Nevskogo St, Kaliningrad, 236016, Russia

² Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of Armenia
44 Arami St, Yerevan, 375010, Armenia

³ National Research University Higher School of Economics
20 Myasnitskaya St, Moscow, 101000, Russia

⁴ Institute of Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences
51/21 Nahimovskiy Pr., Moscow, 117997, Russia

⁶ 'Higher School of Economics' National Research University
16, Soyuzna Pechatnikov St, St Petersburg, 190008, Russia

⁷ St Petersburg State Economic University
21, Sadovaya St, St Petersburg, 191023, Russia

Submitted on September 09, 2019

doi: 10.5922/2225-5346-2020-1-1

The roundtable discussed the key problems of meaning formation in narrative and performative practices. In free discussion, experts analysed various factors and parameters determining the meaningfulness of action and examined mechanisms for their interpretation. These mechanisms can be considered as manifestations of various modally different types of textualisation. Interpretation and textualisation make it possible to identify and describe the interaction between some causal and functional relations ('meaning in life') and their semiotic manifestation ('meaning in the text').

Keywords: meaning, text, social semiotics, performatives, narratives, interpretation.

References

Aristotle, 1983. *Sochineniya v chetyrekh tomakh* [Works in four volumes]. Vol. 4. Moscow: Mysl' (in Russ.).

Barthes, R., 1994. Myth today. In: R. Barthes, ed. *Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected works: Semiotics. Poetics]. Moscow: Progress. pp. 72–130 (in Russ.).

Weber, M., 1990. Basic sociological concepts. In: M. Weber, ed. *Izbrannye proizvedeniya* [Featured Works]. Moscow: Progress. pp. 602–643 (in Russ.).

Zolyan, S. T., 2014. *Semantika i struktura poeticheskogo teksta* [The semantics and structure of the poetic text]. Vol. 2. URSS (in Russ.).

Zolyan, S. T., 1994. Description of the regional conflict as a methodological problem. *Polis. Politicheskie issledovaniya* [Polis. Political Studies], 2, pp. 131–142 (in Russ.).

Zolyan, S. T., 2012. The logic of preferences and conflict resolution (for example, the Karabakh conflict). In: M. V. Ilyin, ed. *METOD: Moskovskii ezhegodnik trudov iz obshchestvovedcheskikh distsiplin* [METHOD: Moscow Yearbook of Works from Social Studies]. Vol. 3. Moscow. pp. 39–67 (in Russ.).

Zolyan, S. T., 2018. To the problem of meaning in social semiotics: Max Weber today. *Slovo. ru: baltic accent*, 9 (4), pp. 27–42 (in Russ.).



Lasswell, G., 2006. Language of Power. *Politicheskaya lingvistika* [Political Linguistics], 20, pp. 264–279 (in Russ.).

Luman, N., 2004. *Obshchestvo kak sotsial'naya sistema* [Society as a social system]. Translated from German by A. Antonovsky. Moscow: Logos (in Russ.).

Plutser-Sarno, A., 1999. The State Duma as a folk character: Parody, crying, confession and libel – genres of Russian politics. *Logos*, 9(19), pp. 65–79 (in Russ.).

Porshnev, B.F., 2007. *O nachale chelovecheskoi istorii. Problemy paleopsikhologii* [On the Beginning of Human History. Problems of paleopsychology]. St. Petersburg: Aletea (in Russ.).

Hintikka, J., 1980. Semantics of propositional attitudes. In: J. Hintikka, ed. *Logiko-epistemologicheskie issledovaniya. Sbornik izbrannykh statei* [Logical and epistemological studies. Collection of selected articles]. Moscow: Progress. pp. 68–101 (in Russ.).

Habrajska, G., 2005. Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa. *Acta Universitatis Lodzianensis. Folia Litteraria Polonica*, 7 (2), pp. 91–126.

Hintikka, J., 1969. *Models for Modalities. Selected Essays*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.

Hintikka, J., 1975. *The intentions of intentionality and other new models for modalities*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company.

Hintikka, J., 1972. The Semantics of Modal Notions and the Indeterminacy of Ontology. In: D. Davidson and G. Harman, eds. *Semantics of Natural Language. Synthese*. Vol. 40. Springer, Dordrecht.

Galtung, J., 1977. *Methodology and Ideology. Vol. 1: Essays in Methodology*. Copenhagen: Christian Ejlert.

Kiklewicz, A., 2015. Błkot w komunikacji: próba klasyfikacji zjawisk. In: P. Lewiński, ed. *Błkot, czyli mowa ludzka pozbawiona sensu. Komunikacyjna funkcja wypowiedzi niejasnych*. Olsztyn. p. 11–26.

Kripke, S., 1980. *Naming and Necessity*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Kripke, S., 2013. *Reference and Existence*. N.Y.: Oxford University Press.

Lewis, D., 1968. Counterpart Theory and Quantified Modal Logic. *Journal of Philosophy*, 65, pp. 113–126.

Lewis, D., 1979. Attitudes De Dicto and De Se. *Philosophical Review*, 88, pp. 513–543.

Searle, J.R., 1980. The Intentionality of Intention and Action. *Cognitive Science*, 4, pp. 47–70.

Searle, J.R., 1995. *The Construction of Social Reality*. N.Y., The Free Press. A Division of Simon & Schuster Inc.

Wright, G.-H. von., 1971. *Explanation and Understanding*. Ithaca (N.Y.): Cornell University Press.

The authors

Dr Suren T. Zolyan, Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia; Leading Researcher, Institute of Philosophy, Sociology and Law, National Academy of Sciences of Armenia, Armenia.

E-mail: surenzolyan@gmail.com

Dr Mikhail V. Ilyin, Professor, Higher School of Economics national research university; Institute of Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Russia.

E-mail: mikhaililyin48@gmail.com



Dr Zhanna R. Sladkevich, Professor, Director of the Institute of Russian and Oriental Studies, Head of the Department of Pragmatics of Communication and Russian Language Didactics, University of Gdansk, Poland; Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: filzs@ug.edu.pl

Prof. Grigoriy L. Tulchinskiy, Saint Petersburg State University; Higher School of Economics national research university, Saint Petersburg; Researcher, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.

E-mail: gtul@mail.ru

To cite this article:

Zolyan, S. T., Ilyin, M. V., Sladkevich, Z. R., Tulchinskiy, G. L. 2020, Meaning in life and meaning in the text (roundtable proceedings), *Slovo.ru: Baltic accent*, Vol. 11, no. 1, p. 7–33. doi: 10.5922/2225-5346-2020-1-1.